

Николай Златовратский

Сироты 305-й версты



Николай Николаевич Златовратский

Сироты 305-й версты

«Наступала весна: конец нашим зимним скитаниям по скверным столичным квартирам. Я, как скворец, ежегодно с первыми весенними лучами отправлявшийся в долгий перелет по стогнам и весям деревенской России для освежения духовного и подкрепления телесного, объявляю своим присным, что пора нам двинуться в путь...»

**Николай Николаевич
Златовратский
Сироты 305-й версты[1]**

Наступала весна: конец нашим зимним скитаниям по скверным столичным квартирам. Я, как скворец, ежегодно с первыми весенними лучами отправлявшийся в долгий перелет по стогнам и весям деревенской России для освежения духовного и подкрепления телесного, объявляю своим присным[2], что пора нам двинуться в путь.

Все готово! В мелочную лавочку и за квартиру заплачен последний долг; ребятки вот уже две недели как не хворают; жена чуть-чуть вздохнула после бессонных ночей, сплошь переполненных заботами о детях, о работе, о долгишках, о голой необеспеченности... Да, бывали тяжелые минуты! Но зато у нас было великое сокровище, которое мы, путем этих лишений, насколько могли, охраняли как зеницу ока: это была свобода духа и свобода перелета, и мы могли не быть рабами, прикованными к колеснице какого-либо господина...

Итак, едем! «К Сидорычу, папа, к Сидорычу! Мы у него не были уже два года!» – катего-

рически заявляют мои скворчата. К Сидорычу? Гм... не близкое место... Но скворчата, уже привыкшие к ежегодным весенним перелетам, ничего не имеют против почти недельного путешествия по водяным и сухопутным путям сообщения, ведущим в царство Сидорыча и ему подобных... К Сидорычу так к Сидорычу! Четыре-пять суток от Петербурга – и перелет совершен, и мы уже переброшены далеко за великую русскую реку и благодушно устраиваемся в первый же ночлег на покрытом соломой и валеными кошмами полуогромной избы заволжского села. А на другой день, почти с первыми лучами яркого весеннего солнца, мои нетерпеливые ребятки уже тащат меня вместе с собой к резиденции Сидорыча...

Мы очень любили Сидорыча. Это был просто старый отставной солдат, еще в молодости защищавший Севастополь, добродушно суровый и исполнительный на службе, философ-юморист в жизни, вечный герой и нищий по судьбе, проходивший свою жалкую жизненную карьеру с тем же героизмом, с каким он некогда стоял на Малаховом кургане, – ста-

рый служака с седыми щетинистыми усами, служивший теперь сторожем на будке 305-й версты заволжской железной дороги.

Отправляться почти ежедневно за полверсты от деревни, на линию, к «шламбою», около которого в небольшой будке жил Сидорыч, было величайшим удовольствием моих ребят. Его «усадыба», как звал он свою будку с примыкавшим к ней огородом в пять квадратных сажен, была действительно прелестным местечком: сама будка стояла на краю резерва пути, и маленький огород, украшенный «по-хохлацки» (как всегда объяснял сам Сидорыч) махровым маком, мальвой и подсолнечниками, упирался в край оврага, поросшего кустарником; на дне этого оврага струилась, немолчно журча по мелким камням, маленькая речка, как змейка, игриво проскользавшая в каменный туннель под полотном дороги. По другой стороне оврага густо разрослась березовая рощица – наш любимый приют в тихие, теплые дни. Здесь, сидя на высоком береговом мыску, я любил смотреть на родной пейзаж, с овражками, долинами и перелесочками, чередовавшимися по-

лосами озимых и яровых полей, с видневше-
юся вдали улицей села, с расстилавшейся за
ним безграничной приволжской поймой, усе-
янной озерами; а мои ребята вместе с
несколькими деревенскими сверстниками в
это время копошились внизу у оврага, у глу-
боких бочагов речки, в которых ходили стай-
ками окуньки и ерши.

Здесь-то и свели мы первое знакомство с
Сидорычем, который считал себя полновласт-
ным владыкой не только своего двухверстно-
го «околотка», но и всех ближайших мест, ко-
торые примыкали к нему. Особенно так назы-
ваемый резерв (или «лезерв», как называл Си-
дорыч) он считал прямо-таки неприкосновен-
ным для обычных смертных и должен был по
этому случаю выдерживать бурные столкно-
вения с деревенскою молодежью во время
урожая ягод и грибов, когда она безжалостно
топтала его покосы. Таким образом, прежде
чем рассчитывать наслаждаться поэтической
прелестью этого милого местечка, носившего
казенное название «305-й версты», необходи-
мо было заручиться расположением Сидоры-
ча, что, впрочем, не представляло особенного

затруднения: стоило только в принципе признать его власть над всем этим железнодорожным «уделом» и побеседовать с ним «по душам», сидя на лавочке около будки, чтобы размягкий старик, большой любитель всяких бесед, тотчас же не только великодушно уступил в ваше пользование все поэтические прелести своих владений, но и сам принял самое деятельное участие в организации всякого рода «удовольствий». Вместе со своей маленькой тринадцатилетней Катенкой, тоненькой, жиденькой черноволосой девочкой, с темно-карими, какими-то пугливо-резвыми глазенками, прыгавшей, как козленок, в полинялом сарафанчике, едва доходившем ей до колен, он ставил нам в рощице самовар, разводил костер и делал яичницу или варил в котелке раков, а иногда и уху из ершей, которых тут же налавливал. Я же, с своей стороны, не забывал прихватить для старика скляночку «горилки» (как любил он иногда говорить «по-хохлацки», вспоминая свои военные постой в Украине) и «ведомости» – две вещи, к которым он из всех «пустяков», служащих для соблазна и удовольствия людей, чувство-

вал особенную слабость, конечно не забывая искони излюбленной махорки.

И вот теперь, когда спустя три года после нашего первого знакомства с Сидорычем, мы опять приехали в эти знакомые места, мы снова застали его на том же посту, тем же неизменным владыкой крохотного железно-дорожного «удела».

Сидорыч встретил нас по-прежнему, как старых знакомых, радушно, по-видимому, даже обрадовался. За эти три года, как мне показалось, он не только не подрыхлел, но, напротив, как будто стал сановитее, «подтянулся», а волосы на голове и усах стали как будто даже чернее. Он теперь был «при полной форме»: в новой форменной фуражке и синей блузе, подпоясанной кожаным поясом, на котором висели свернутые флаги, с длинным молотком в руке. После обычных радужных приветствий он присел к нам на излюбленный нами мысок.

– Погоди, уж вечером свободен буду. Освожусь от дежурства, тогда мы с вами тут по-настоящему разгуляемся. Теперь я, вишь, в очередь на дистанцию собрался, – говорил он.

– Кто же у тебя здесь остается? Как твоя коза Катенка?

– Катена-то? – поправил он меня. – Катена у меня теперь хозяйствует... Катена у меня теперь – девка в полной форме... Катену вы и не узнаете... Теперь она на деревню ушла.

– Что же, она за тебя здесь остается?

– Нет. Это еще ей пока по молодости не положено.

– Кто же при тебе еще?

– При мне-то? А жидок... Али вы, может, его не знаете? При вас, в ту пору, его, пожалуй, не было еще. Вон дудит... слышите? Хорошо играет, собака...

Действительно, мы еще раньше слышали как будто откуда-то издалека долетавшие нежные звуки флейты, на которые мы раньше не обратили особого внимания.

– Так это он играет?

– Он... Хорошо играет... Известно – жид, это им уж от натуральности дадено. Другой раз, собака, до слез проймет... А ничего – малец добрый, складный... Худого не скажу... Обходительный... Вот под команду ко мне прислали. Покалечило его здорово, под поезд на

станции попал, – служил он там. Ну, его сюда ко мне и сослали под начал... Баба мне должна бы полагаться... Ну, а как бабы у меня нет, вот и прислали, значит, как бы замест доподлинной бабы... Ничего, я им доволен. Обходительный малец... Я вот ему неравно скажу: коли что вам занадобится, он сейчас, с удовольствием...

– Абра-ам!.. Абра-амко!..– закричал Сидорыч. – Не слышит, пес... Абрамчук!.. Не слышит, жиденок... Ну, я пойду сам скажу ему... Идти мне надо. А вы разгуливайтесь здесь на здоровье...

Сидорыч ушел куда-то за будку, и скоро флейта замолкла. Несколько минут спустя я увидел медленно подвигавшуюся к нам фигуру на деревяшке вместо правой ноги, опирающуюся на толстую палку. Перейдя речку по полотну, она остановилась недалеко от мыска, где я сидел, и, сняв шапочку, поклонилась, слегка кивнув головой. Это был еще совсем молодой человек, почти юноша, с своеобразно красивым лицом еврейского типа, обрамленным маленькой кудрявой черной бородкой, с немного сторбленным носом и

большими темными глазами, слегка подернутыми туманным налетом, под густыми ресницами, с тем робко-мечтательным выражением, которое часто встречается у музыкантов. Он был в стареньком, порыжелом на спине, легком люстриновом пиджачке и такой же шапочке с комической шишечкой на маковичке.

– Здравствуйте, – сказал я.

Он снова левой рукой снял шапочку, мотнул головой и молча улыбнулся пухлыми розовыми губами.

– Вы – Абрамчук?

– Да-с, Абрамсон я... Это старичок меня так прозвал Абрамчуком... А я – Абрамсон, – проговорил он мягким гортанным голосом с чуть заметным жаргоном и опять с молчаливой улыбкой продолжал смотреть на нас.

– Садитесь с нами, – предложил я.

Слегка смуглое лицо его почему-то вспыхнуло румянцем; он сделал неторопливо несколько шагов и осторожно присел на пенек, продолжая смотреть на нас робким, мягким, улыбающимся взглядом.

С первого раза он мне очень понравился: в

нем было что-то деликатное, располагающее к нему и вместе с тем благодаря, вероятно, отрезанной ноге невольно вызывавшее к нему сострадание. Одно только в нем было для меня загадочным – его мягкий, нежный, уж как-то чересчур ласкающий взгляд темно-бархатных глаз, в глубине которых, однако, таилось что-то такое, чем он, по-видимому, вовсе не желал делиться со всяким встречным.

– Вы давно здесь? – спросил я.

– Два года... После того как отрезали мне ногу.

– Как же это случилось?

– Я служил на станции. Была ночь, большая вьюга, очень сильная вьюга. Подходил поезд... Уже видны были огни... Вдруг господин начальник станции заметил, что первая стрелка стоит неправильно... или показалось так ему... он кричал мне, чтобы я бежал смотреть стрелку... Я бежал. Вьюга била мне в лицо снегом... Я бежал к стрелке, – она стояла верно... Я хотел крепче держать ее за рычаг... Я протянул руку, но ветер меня сшибал... Я поскользнулся... Поезд проезжал мою ногу...

Абрамчук говорил неторопливо и хладно-

кровно; ему, по-видимому, наскучило уже передавать бесчисленное количество раз одно и то же.

– Ну и что же? Наградили вас чем-нибудь?

– Мне отрезали ногу... Я лежал два месяца в больнице... Потом мне сказали: «Тебе, Абрамка, надо ходить в отставку... Вот тебе пятьдесят рублей в пособие – и иди, куда желаешь...» Куда я мог желать идти? У меня уже не было ни отца, ни мать, ни брат, ни сестра... Я был один... Я плакал... Тогда господин главный начальник дистанции сказал: «Пошлем его, господа, на триста пятую версту; там один старик без бабы; пусть он будет при нем вместо бабы...» И меня послали к старичку...

– Только этим-то вас наградили?

Абрамчук пожал с улыбкой плечами.

– Господин главный начальник говорил: «Ты никого не спас. Стрелка стояла правильно... Когда бы стрелка стояла неправильно и ты бы перевел ее как следует, тогда мы благодарили бы тебя по-другому».

– Что же вы на них не жаловались? Ведь вы же все одно остались калекой на всю жизнь, без ноги, не по своей вине.

Абрамчук опять пожал плечами, но ничего не сказал.

– Вы что же, довольны здесь своим положением?

– Я доволен, господин, – сказал он совершенно искренно и вздохнул.

Быть может, заметив на моем лице недоумение, он прибавил:

– Я сирота... совсем одна сирота... Моя родина далеко – Бессарабия... Мой отец приезжал сюда делать гешефт на линию, когда строилась дорога... Гешефт не пошел... Тогда мой отец ходил в город с музыкой и велел мне тоже играть с собой... И я играл, и потом скоро стал играть хорошо... и отец меня хвалил... Потом мой отец скоро умирал, и мать скоро умирала... Я плакал... Тогда господин главный начальник дистанции сказал: «Ты, Абрамка, оставайся пока у меня прислуживать, а потом я тебя поставлю на станцию...» Я опять плакал и благодарил господина главного начальника... Он велел мне играть при себе, когда приходил домой... Я часто ему играл; он хвалил меня и давал немного денег.

– Я слышал вас... Вы хорошо играете. Вы,

должно быть, артист в душе... Вы любите играть?

– Да, я люблю, господин, играть... И петь люблю... И здешний батюшка меня хвалил. И я просил батюшку позволить мне петь в церкви. Батюшка сказал: «Я этого не могу позволить, потому что ты еврей... Такой закон... Если бы ты был православный, тогда можно...» И я тогда плакал... Теперь господин учитель мне разрешает ходить к нему и петь с мальчиками... Очень хорошо поем... И здешние мужички говорят: «Абрамка поет хорошо...» И все хвалят... Но в церкви не велят.

– А вам хотелось бы в церкви петь?

– Да, я очень хотел бы петь в церкви... У нас здесь нет евреев и нет своей церкви... Я хожу к русской церкви, стою у дверей, и слушаю, и плачу... И мне так хорошо!

Я взглянул на Абрамчука. Он сидел, опустив свои пушистые ресницы, и глядел вниз; лицо его было серьезно и грустно. Но он тотчас же, как только почувствовал мой взгляд, поднял на меня глаза, чуть-чуть повел плечами и улыбнулся мне своей обычной мягкой, ласкающей улыбкой, в которой было и что-то

милое, и что-то заискивающее, как у сиротливой собачки.

– Вы, может быть, господин, чего хотите? – вдруг спросил он. – Старичок мне сказал, чтоб я вам услуживал... Может, самовар хотите?

Нет, не теперь... Когда-нибудь в другой раз...

– Может, желаете, чтоб я вам сыграл?

– О да, пожалуйста! – воскликнул я.

Абрамчук вынул из бокового кармана, который у него чересчур топорщился, как я только теперь заметил, странный инструмент, развернутый на три небольших колена, всего больше напоминавший флейту; он составил колена, предварительно обслюнив винтовые нарезки, раза два провел боковые отверстия по губам, сделав несколько рулад, потом он поднялся, приподнял свою шапочку, кивнул головой и сказал:

– Я уйду, господин, недалеко... Вот в лесок... Я лучше играю, когда один.

– Пожалуйста, как хотите! – сказал я.

Он еще раз поклонился и заковылял на деревяшке в зеленую чащу.

После нескольких минут тишины вдруг

послышались нежные, тихие, прерывистые звуки, как будто откуда-то прилетели в кусты влюбленные птички и весело перепевались друг с другом; но затем мелодия становилась все непрерывнее, звуки гармоничной волной переливались одни в другие и, наконец, поднимаясь все выше и выше, наполнили собою всю рощу и как будто реяли над ее зеленым шатром.

Я заслушался и в то же время как-то бессознательно смотрел на Сидорычеву будку, которая, казалось мне, под эту музыку постепенно оживлялась чьей-то неутомимой, деятельной жизнью. Вот с шумом распахнулись сначала большие оконные рамы, и чьи-то оголенные до самых локтей руки энергично гнали в окно тучи мух; потом с шумом отворилась передняя дверь, и на крыльце мелькнула живая небольшая худенькая фигурка девушки, босая, в стареньком ситцевом платье и красном платочке, слегка наброшенном на густые черные волосы, выбивавшиеся спереди из-под платка кудрявыми непослушными прядями, которые девушка то и дело поправляла руками; на минутку она приостанови-

лась, посмотрела в нашу сторону, прислушалась и затем, скрывшись быстро в будку, уже мелькнула сзади, на заднем крыльце, и что-то сыпала из решета на землю, собирая вокруг себя бежавших с разных сторон кур; через минуту она уже была около огорода, таща за собою на коротком поводке маленького теленка; привязав его на ближней лужайке, девушка опять пропала... Пробужденная ею в задремавшей одинокой будке жизнь уже не прекращалась: на крыльце появилась сначала, выгибая спину, большая белая кошка с целым выводком котят, подпрыгивавших друг около друга, как резиновые мячи; затем откуда-то вылез старый желтый пес и, заметив нас, лениво тявкнул спросонок; шумно кудахтали куры на слетевшуюся на чужой корм тучу воробьев; мычал теленок; в ответ ему слышалось другое мычанье, и из-за будки показалась большая, с круглыми рогами голова коровы, меланхолично и степенно покачивавшаяся из стороны в сторону, позвякивая колокольчиком, а за нею мелькала фигура девушки с хворостиной в руке; быстро и ловко обернув рога коровы веревкой, девушка при-

вязала ее тут же на луговине, около теленка, и снова исчезла на мгновение, чтобы появиться на высоком переднем крыльце будки. Здесь она присела на скамейку, погладила большую белую кошку, собрала к себе в подол котят и стала смотреть вдоль полотна дороги, прикрыв рукой глаза от солнца.

А нежные мелодичные звуки все заливали и заливали собою зеленую чащу рощи.

Вдруг девушка быстро вскочила со скамьи и крикнула резким, визгливым голосом:

– Абра-ам!.. Абра-а-ам! Скорей беги... Второй номер идет!..

Но Абрамчук, по-видимому, не слышал.

– Абра-а-м! – сердито-настойчиво взвизгнула девушка, как будто досадуя, что ее голос не может сразу прервать мелодию. Звуки флейты оборвались, и Абрам быстро проковылял мимо нас к будке. Девушка уже стояла у запертого шлагбаума со свернутым зеленым флагом, и едва она успела сердито сунуть его подошедшему Абрамчуку, как с грохотом, визгом и ветром пронесся курьерский поезд, окутав все кругом облаком дыма, медленно расползавшегося молочно-белыми клочками

над рощей.

Дым рассеялся, но живой фигуры девушки уже не было видно: она снова исчезла. Для меня, впрочем, не было сомнения, что это была именно Катена, выросшая за три года из растрепанной и вертлявой козочки Катенки в девушку «в полной форме», как говорил старый Сидорыч.

Спустя немного времени мы, собрав после неудачной ловли удочки, пошли по направлению к будке, чтобы, по обыкновению, отдать на сохранение наши рыболовные снасти. Абрамчук сидел на крылечке и, по-видимому, устало-мечтательными глазами глядел вдоль извивавшегося полотна дороги.

Вдруг в полурастворившуюся дверь раздался тонкий, певучий голос Катены:

– Ты – глупый, и был всегда глупый, и будешь всегда глупый... Да... ты играешь на дудке и всегда зеваешь поезда, – торопливо выговаривала она. – Я не буду больше смотреть за поездами, и звать тебя, и искать... И пускай тебя прогонят со службы!.. Куда ты пойдешь на своей деревяшке?

И девушка, схватив с пола игравшего око-

ло двери котенка, бросила его на плечо Абрамчука и со звонким смехом захлопнула за собой дверь. Но это обстоятельство, кажется, нисколько не смутило ни Абрамчука, ни котенка; последний постарался даже тотчас же возможно покойнее усестся на плече Абрамчука.

– Катена, должно быть, на вас сердита? – спросил я, подходя к будке.

– Да, она теперь часто сердита на меня... – отвечал он с искренно-грустной улыбкой. – Она теперь такая... очень серьезная девушка... Она и на старика тоже бывает сердита... Она часто мне это говорит: «Если ты будешь только играть музыку и плакать, то тебя, Абрам, будут все гнать, и бить, и смеяться над тобой... И жена тебя будет бить!..»

И Абрамчук печально пожал плечами, как будто для него не оставалось сомнения, что его будет бить даже жена.

– Вы ее, кажется, побаиваетесь? – шутливо спросил я.

– Да... и старичок боится... Она стала такая... очень сурьезная девушка... Да!.. – повторял Абрамчук, утвердительно кивая головой,

как будто стараясь всячески поднять в моих глазах репутацию Катены.

Я с ним согласился, и мы приятельски распрощались.

Наступило ненастье, и только спустя почти неделю мы могли снова возобновить наше путешествие к будке Сидорыча. К нашему удивлению, ни сам Сидорыч, ни Абрамчук не подходили к нам с тою предупредительностью, как это делали раньше, и совсем не разделяли нашей компании. Иногда только, заведя нас сидящими на мыску, кто-нибудь из них издали любезно раскланивался с нами и тотчас же уходил или в избу, или на деревню. Только спустя уже несколько дней к нам неожиданно подошел Сидорыч с явным намерением отдохнуть вблизи нашей небольшой тепliny (костра).

Солнце уже закатилось. На речке дымился туман. Мы готовились в котелке варить уху. Сидорыч шел к нам торопливой походкой, собирая по пути хворост, и, подойдя, бросил его в разгоревшуюся тепlinу.

– Ну, доброго здоровья! – заговорил он. – Как гуляете? Наловили моей-то рыбешки?..

Ну и слава богу! Кушайте во здравие... Хорошо оно на воле-то покушать... Другой скус! А мне вот все недосуг было...

– То-то, видно, заботы у тебя, Илья Сидорыч?

– То-то что заботы! – сказал он, присаживаясь на корточки у теплины и поправляя палочкой горевший хворост. – Как не заботы! Стар уж стал, умирать пора... И не увидишь, как еще заживо похоронят... Гляди того, начальство сообразится: а сколько, мол, у нас лет значится этому старику с триста пятой версты? Надо бы проверить его старость!.. У нас ведь строго... Известно, дело ответственное... Вот другой раз и подтянешь себя, подбодрисься видом-то, особенно ежели когда дистанционный едет... Другой раз подфабрюсь... Да!.. Усы подчерню, брови. Я на это прежде мастер был: сразу десять годов смахну... Хи-хи-хи!..-добродушно засмеялся Сидорыч.

– А уж пора бы тебе на покой, Илья Сидорыч.

– Как не пора! Пора... Вот и надо обо всем сообразиться...

Он замолчал, помешивая ложкой в котелке.

– Н-да, мудреное дело... Ой-ой, мудреное дело затеяно! – вдруг сказал он, поднявшись и покачивая головой. Потом он молча присел на пень и стал набивать трубку.

Я молчал, выжидая, когда он выскажется сам. Я чувствовал, что он был в таком настроении, когда излишние расспросы только напрасно раздражают и заставляют человека или говорить ничего не значащие фразы, или совсем уходить в себя. Когда он закуривал трубку, руки у него слегка дрожали, а левый ус то и дело передергивала судорога.

– А что же поделаешь! – заговорил он опять. – Хоть и не родные, а тоже жалко... Вроде как родные стали, сжились... Катена-то ведь мне не родная... Али я вам рассказывал?

– Нет, нет...

– Да, не родная совсем... Приемыш... Я в то время на другом участке служил. Глухой был участок, лес кругом один. В ненастную погоду беда: всю душеньку надорвет лес-то своим ревом. Вот как-то сижу я один в будке, товарищ ушел на линию, кто-то слышу стукнул в

дверь. Отворил окно – темень страшная... Ветер, дождь... «Кто, мол, тут?» – спрашиваю. «Это я», – говорит. «Слышу, что ты... да кто ты-то?» – «Пусти, – говорит, – ради Христа, обогреться... Смерть моя с ребенком пришла... Обессилела совсем». Взял фонарь, вышел на крыльцо. Стоит женщина, ну, вот все равно цыганка: волосы растрепаны, глаза черные так и сверкают при фонаре-то, на плечах шаль, а в шали ребенок завернут. «Ну, – говорю, – ступай обогрейся...» Пустил ее... Села у печки, распутала ребенка и на лавку посадила... Он тоже ровно цыганенок: голова черная, кудрявая, обличье смуглое, глазенки ровно черные тараканы бегают. Годков трех-четырёх, гляди, будет... «Что ж, – говорю, – куда идешь? Как тебя, – говорю, – занесло в такое место в такую пору?» – «По линии, – говорит, – иду на станцию. На родину, слышь, еду... Издалече я...» И опять молчит, на ребенка смотрит. «Муж-то померши, что ли?» – спрашиваю. «Муж-то? – спрашивает. – Да, да, помер», – говорит. Потом вскочила с лавки-то, шепчет что-то над ребенком... На меня этак посмотрит пронзительно... Чего, думаю, ей во

мне? А потом и говорит: «Ты, – говорит, – дяденька, погляди девушку-то, как бы не упала... Я только за малым делом выйду...» И вышла... Да так вот по сию пору ходит неведомо где... А девчонка сидит и хоть бы ты что! Хлебца ей дал, ест да глазенками на меня сверкает. «Что ж, – говорю, – мать-то долго нейдет?» Молчит. Пошел на крыльцо – никого не слышать. Окрикнул – ни тебе словечка. Давай громче кричать – только ветер ревет. Я тут так и руками по полам ударил... Ах ты, думаю, оглашенная! А! Как старика обошла!.. Цыганка, так цыганка и есть: блудливое отродье... Что ж мне теперь делать? Подкинула ведь ребенка-то... Где ее теперь искать в таком месте? Вошел в избу. «Где ж мать-то у нас с тобой? – говорю девчонке-то. – Куда пропала?» А она сверкает на меня глазенками-то, улыбается... «Ах ты, – говорю, – дрянь ты этакая! Что ж мы с тобой будем делать-то? Ну, да нечего толковать... Придет вот товарищ, спать с тобой ляжем... А завтра по начальству донесу»...

Наутро дал, значит, объявление в волость. А там говорят: «А нам что с ней делать? Твое

счастье... Тебе бог подал... Прокормишь, чай... Самому веселее будет»... Подумал, подумал: а может, это и верно говорят, что божье поизволение... Приписал на себя... Вот она какая мне дочь-то!.. А все же жалко ее, сжились... ровно родная стала!.. Надо тоже и ее обдумать.

Сидорыч долго молча выбивал о каблук трубку, долго выковыривал из нее золу, прежде чем опять начать говорить.

– Ой, мудреное дело затеяли! – начал он опять. – Да... Вот и Абрамка... жиденок-то, тоже вот пожалеешь... Что он мне! Уж совсем ни к чему... А тоже вот как ребенок... привязался... Прямое дело – сирота одинокая... Мы тут все сироты... Я уж вот сколько годов никакой родни не знаю... Вот и цепляемся друг за друга, сирота за сироту. Думаем, может, оно по-настоящему, по-любовному дело-то у нас уладится... Вот оно сиротам-то и нескучно будет на свете!..

– А где же Абрамчук? Что-то давно не видно его, – спросил я.

– В губернию уехал. Гляди, скоро вернется. Так, побывать поехал... к родителям, вишь, на могилки побывать... Он ведь что ребенок, Аб-

рамчук-то... Как есть вот малое дитя... Порешило было тут начальство перевести его от меня. А он в слезы. Так рекой и разливается... Припадет это ко мне, руки целует. «Что ты это, – говорю, – глупый?» А он твердит: «Дяденька, – говорит, – упростите начальство не убирать меня отсюда. Я, – говорит, – слубился с вами: и вас, – говорит, – старичка, люблю, и Катену люблю, и мужичков здешних люблю... Очень, – говорит, – мне здесь приятно!..» А сам так и обливается. Катена, гляжу, ни жива ни мертва сидит... Ну, обхлопотал, – оставили. Опять на своей дудке заиграл, соловьем разливается... Гляжу, и Катена моя повеселела. Ну, думаю, может, и нам, сиротам, бог счастье пошлет... А дело-то, господин, вышло мудреное... Ой-ой какое мудреное!.. Много я мудреных делов видывал, ну, а мудренее этого, пожалуй что, и не видал...

Сидорыч закричал, подымаясь с пенька и схватившись за поясницу.

– Стар уж стал, сударь... Неможется... Сироты так сироты и есть – одно слово! – проговорил он; вдруг его ус опять задергался судорогой, он быстро провел рукавом по глазам и за-

торопился. – Надо быть, скоро сорок семь пойдёт... Бежать надо... А вы гуляйте, гуляйте! Ишь какой вечер-то – бархат, теплынь!

– Тятенька-а-а! – вдруг от будки раздался резкий, чистый, звенящий оклик Катены. – Беги на шамбой!.. Сорок семь идёт!

– О-у! – крикнул Сидорыч. – Бегу!.. Вишь, тятенькой кличет... Какой я ей тятенька!.. А любит, – проговорил старик, ласково улыбнулся мне и быстро задвигал плохо слушающимися ногами к «шамбою».

Я принялся вместо Сидорыча доваривать уху, подкладывая в теплину хворостинки, пока мои ребятки, усиленно вглядываясь сквозь сероватый туман сгущающихся сумерок в поплавки, все еще долавливали не успевшую уснуть рыбешку. Скоро тяжело пропыхтел мимо нас длинный товарный поезд, гремя и визжа цепями, как будто передвигался целый острог. Стало уже почти совсем темно, когда поспела уха и ребятишки уселись кругом котелка, освещая его ярким пламенем подбрасываемого можжевельника. Мы с аппетитом принялись хлебать, когда в темноте неожиданно показалась высокая фигура Сидорыча;

он был теперь без блузы, в одной рубашке, заправленной в широкие шаровары.

– Вот и я, значит, со службы пришел... Теперь уж я на свободе, – сказал он, – до утра на свободе.

– Присаживайся, – предложил я, – вот ложку бери.

– Нет, благодарствую... Что-то вот эти дни и на пищу не тянет.

– Что так? Нездоровится?

– Нет, этого, кажись, нет... Так уж... Как-то малость с порядку сбились... С хлопотами все... До кого ни доведись!.. Катена вон тоже ровно тень ходит... Что поделаешь!.. Бывает всяко... А что, ваше благородие, – неожиданно спросил Сидорыч, присаживаясь около меня опять на корточки и стараясь говорить как можно тише, – ежели теперь есть какой закон, ведь требуется его исполнять?

– Да, конечно... Смотря по тому... – начал было я, не понимая, к чему он ведет речь.

– Вот я и думаю: уж ежели закон – надо, значит, исполнять. Где закон, там уж строго. Вот у нас, бывало, по военному делу: беда строго, что ежели касательно закону! Или вот

по путейскому делу: принял закон – держись крепко! Исполни закон, а там и живи уж, как бог тебе велит, располагайся, как, значит, желаешь.

– То есть как же это? – несколько недоумевая, спросил я.

Сидорыч снял картуз, посмотрел в его тулью, потом опять надел и, помолчав, сказал:

– Будем так примерно говорить: есть у меня на селе избенка, неважная избенка, прямо сказать – бобыльская, а все ж обернуться на первое время можно... Заколочена она у меня теперь... Ну, вот я и одумал. Пришел к нашим мужикам и говорю: «Вот, – говорю, – братцы, того гляди, начальство сообразится да и пропишет мне чистую... Куда я денусь? С сумой ходить ежели только». – «Зачем, – говорят, – с сумой? Зятя возьми к Катенке во двор да и хозяйствуй! Мы тебе на душку земли отрежем». – «А Абрамку ежели... можно взять?» – закинул я. «Что ж, – говорят, – и Абрамку можно... Абрамку мы знаем... Только, вишь ты, насчет Абрамки есть закон... Охлопаты-вай, а мы Абрамку примем»... Ну, думаю, коли так, надо всё охлопотать... Стал это я дознаваться:

как и что... И в город съездил, и в волости побывал, и так, значит, насчет законов е разным умственным народом разговариваю. Смотрю, дело не малое... Купец у нас тут есть по соседству, больно охоч робят крестить, и к нему толкнулся... Ну, дознался обо всем... «Что ж, – говорю, – Абрамчук, обдумаем дело? а?» Стал я ему обсказывать, – как и что... Глянул на него, а он аки покойник... Молчит... Только мне да Катене так жалостливо улыбается... Так ничего и не сказал... Гляжу, по ночам не спит, все что-то лопочет... Книжку свою возьмет, – закон у него тоже свой такой есть, – все и смотрит, и смотрит в нее, а слезы так и бегут у него... Жалко мне его стало, признаться... Потом уж и говорит: «Я, – говорит, – дяденька, в губернию хочу проситься съездить... Там родители у меня похоронены... и все прочее такое... Я, – говорит, – тоже крепко любил своих-то: и отца, и мать любил, и братьев... Учитель у меня был, тоже помню и его...» – «Что ж, – говорю ему, – дело хорошее – родителей почитать и помнить... Н-да!.. Может, у тебя на душе-то и полегчает... Может, от них и указание тебе какое будет... невиди-

мо... Это бывает!...» Вот и уехал...

Сидорыч опустился на траву, поднял колени, охватив их руками, уткнул в них голову и долго молчал: одолевала ли его усталость и он дремал или непосильная для его ума и непривычная задача налегла тяжелым грузом на его старый мозг?

Вдруг он поднял голову и проговорил, улыбаясь какой-то пришедшей ему в голову мысли:

– Чудной он, Абрамчук-то: как есть малое дите... Какие ему законы! А нельзя, вишь ты: по жизни везде закон... Сколько ни видел я всяких народов, где ни служил – везде закон: у одного свой закон, у другого – свой, у третьего – инакой, а все закон... В жизни ежели – от закона никуда не уйдешь. Какой ни то закон тебя настигнет!.. Только отец небесный, господь милосердный един! Законов много, а господь милосердный – все един! Так ли я, господин, говорю?

– Да, это верно, Илья Сидорыч, – поддержал я старика.

– Только у него, милосердного, и есть един закон – истинный! Эх, сироты, сироты! – за-

ключил он, кряхтя и с трудом поднимаясь с земли. – Ну, прощайте! Пора и вам баиньки и мне на покой.

– А ты, Илья Сидорыч, должно быть, много всякого повидал на своем веку?

– Много, господин! С каким народом не жил, с каким разговоров не водил... Чего не переслушал, чего не перевидал – и-и-и! Счастливо оставаться, ваше благородие!

Через три дня мы собирались уехать на пароходе недели на две к знакомым. По поручению детей я должен был зайти к Сидорычу, чтобы захватить оставшиеся у него на сохранении наши рыболовные снасти. Накануне нашего отъезда, под вечер, я тихо подвигался к будке, наслаждаясь чудной картиной заката. Я прислушивался, не играет ли где Абрамчук. Мне так хотелось послушать именно теперь, в тишине этой чарующей вечерней зари, нежные мелодии его скромной, старой флейты. Но ее не было слышно. Я был уже около будки, когда в раскрытые настежь окна до меня донесся неторопливый, прерывистый разговор.

– Ну, и... потом-то он что ж?.. Да кто это он-

то? – спрашивал Сидорыч.

– Это наш старый учитель, меламед[3]... очень старый, и самый ученый, и самый мудрый, – неторопливо отвечал Абрамчук чуть слышным голосом. – О, какой ученый, и мудрый, и строгий, и весь седой!.. Я плакал и ползал у его ногам и говорил, что я люблю бога, и его люблю, и мать, и отца, и старичка, и Катену люблю... и господина начальника дистанции. Я сирота, и я хотел любить... А он кричал на меня: «Уходи от меня, ты – скверный, ты – противный человек... Мы запишем тебя в книгу и будем говорить все, что ты и скверный, и противный, и совсем нам чужой!.. И отец твой и мать твоя будут приходить к тебе каждую ночь и говорить, какой ты скверный, как ты противный им сын!..» И я опять ползал у его ногам, и опять плакал... А он все махал на меня руками, и страшно смотрел на меня, и кричал: «Уходи, уходи, ты – противный сын!.. Ты давно потерял свой закон...»

Я невольно замедлил шаги, не решаясь войти в эту минуту в будку. Абрамчук замолк... Вдруг послышался стук по столу, и резкий, пронзительный голос как-то истериче-

ски вызывающе выкрикнул:

– Ну и пущай... их всех!..

Вслед за этим дверь будки с шумом распахнулась настежь, и в ней показалась Катена с возбужденно бегавшими большими темными глазами и пылающими щеками. Заметив меня, она тотчас же испуганно скрылась в избу, громко захлопнув дверь.

Я подождал, но никто не выходил, и было тихо. Тогда я вошел сам в будку.

Сидорыч стоял у окна и усиленно сопел догоравшей трубкой. С одной стороны стола сидел Абрамчук, вытянув вперед свою деревяшку. Но что с ним случилось! Таким я его никогда еще не видывал. Весь какой-то желтовато-бледный, осунувшийся, сидел он, низко опустив свою черную кудрявую красивую голову. Тяжелые черные ресницы совсем закрывали его глаза. Это было что-то жалкое, беспомощное, как тяжелобольной ребенок. Я невольно быстро окинул комнату, ища Катену: она стояла около угла печи, прислонившись к ней закинутыми за спину руками, и вызывающим взглядом своих темных глаз недружелюбно окидывала всех нас. В этом

взгляде одновременно светились и недоверие, и презрение, и злость: казалось, она находилась в последней степени того возбуждения, которое часто разрешается у женщин взрывом неудержимых рыданий.

Я поздоровался, но ни Катена, ни Абрамчук не ответили ни слова: последний только поднял чуть-чуть на меня глаза и посмотрел с мягкой улыбкой безнадежно и кругом виноватого человека, но не поднялся, как это он, по своей деликатности, всегда делал прежде, а продолжал сидеть, как расслабленный, опустив на колени руки. Один только Сидорыч приветливо закивал головой, предлагая мне присесть. Я отказался, объяснив, зачем я пришел, и спросил Абрамчука:

– Что ж, Абрамчук, или несчастливо съездил? Захворал, должно быть?

На мой вопрос Абрамчук опять ответил той же молчаливой ласкающей улыбкой.

– Ничего-с!.. Все бог, ваше благородие! – заговорил Сидорыч, торопливо собирая мои вещи. – Как, значит, бог, так и мы... Как уж он одумает... Это ведь, ваше благородие, только законов много, а бог-то, господь милосерд-

ный, всем один! Он уж одумает, – говорил старик на ходу, и мне казалось даже, что он старался внушить свою излюбленную мысль не столько мне, сколько Абрамчуку и Катене. – Вот все, кажись, – прибавил он, передавая мне вещи.

– Ну, прощайте пока. Дай вам бог всего хорошего! Увидимся еще опять, – сказал я.

– Отчего не увидаться! – говорил, провожая меня за дверь, Сидорыч. – Одумает господь увидаться – увидимся... Это ведь, сударь, у людей законов много, а у господа милосердного один закон, истинный для всех! Верно ли я говорю, ваше благородие? – заключил Сидорыч, очевидно еще раз желая получить подтверждение своей любимой мысли.

Я поддержал его своим согласием, и мы распрощались – увы! – навсегда.

Вернувшись через три недели, мы застали на будке уже совсем новых хозяев и владельцев железнодорожного «удела» 305-й версты. Нас встретил низенький, черноватый господин с маленькими торчащими усами и бритой бородой, который тотчас же отрекомендовал нам и себя и свою высокую, толстую, с

большим животом жену, обязательную железнодорожную «барьерную бабу», и целый рой мал мала меньше ребятишек.

– Где же Сидорыч? – спросил я.

– Уволен вчистую-с, ваше благородие. Нельзя-с... Для всего есть закон. Ну, а главная причина – бабы у него не было... А у меня баба-с, как быть по закону.

– А где же его дочь и Абрамсон? И сам он где?

– Не можем знать-с... Да вам зачем же их? Ежели разгуляться здесь пожелаете, то и мы для вас с полным нашим удовольствием: и ежели самоварчик, и молочка, и все такое прочее, как следовает...

Но мне жаль было Сидорыча, жаль Абрамчука, жаль Катены, всей той странной, неуловимой и в то же время какой-то роковой поэзии, которая, как дымкой, окружала жизнь этой ячейки сиротских душ. И теперь уже не было здесь этой поэзии, сдунутой и развеянной стихийным вихрем судьбы.

Я пошел на село к «бобыльской» избушке Сидорыча: она стояла по-прежнему дряхлая, покосившаяся, с заколоченными окнами, с гу-

стым бурьяном на пустой усадьбе.

Проходивший мимо мужичок объяснил мне, что Катена, выхлопотав паспорт, уехала в город, чтобы наняться в услужение, что вслед за нею куда-то пропал и Абрамка; начальство тут сообразилось, что Сидорычу давно уж, по его одиночеству и старости, не позволяется по закону быть «линейным», и его уволили вчистую. Теперь он нанялся в подпаски в большое соседнее село, верст за двадцать.

Я слушал этот форменный «доклад мужичка о „сиротах“ 305-й версты» и все смотрел на избушку Сидорыча. Мне жаль было этой избушки и грустно, что «господь не одумал», чтобы в ней вспыхнуло и загорелось даже то скромное сиротское счастье, о котором так мечтал старый служака.

Это было спустя уже лет пять. Я жил на пригородной даче в окрестностях Москвы. Однажды в очень жаркий майский день, в те часы, когда еще даже на московских дачах стоит относительная тишина и пока оживленно шумят и возятся на солнце одни дети, я услышал с терраски своей дачки нежные меланхо-

лические звуки флейты, несшие ее ко мне от ближайших соседних дач. Сначала я подумал, что играл это какой-нибудь недавно поселившийся дачник. Однако в своеобразной мелодии музыканта мне все больше чудилось что-то очень знакомое, невольно вызывавшее во мне какие-то смутные, ранее испытанные мною настроения. Но я никак не мог связать эти мелодии с каким-либо определенным воспоминанием. Скоро флейта смолкла, и вместо нее раздались грубые, резкие, фальшивые звуки плохой шарманки, сопровождавшейся чуть слышным, слабым позвякиванием стального треугольника. Очевидно, это были уличные музыканты. Проиграв свой несложный репертуар, замолкла и шарманка, и вскоре на дороге, проходившей мимо моей дачки, показалась сначала невысокого роста женщина в короткой, суровой юбке, толстых чулках и башмаках, характерно повязанная по-цыгански красным платком, из-под которого на лбу и висках выбивались густые пряди черных кудрявившихся волос; женщина, по-видимому, без особого усилия, согнувшись, несла на спине небольшую шарманку; за нею

следом шел, опираясь правой рукой на палку, хромой, с деревянною ногой, молодой мужчина; на левой руке он нес худенькую трех-четырёхлетнюю девочку, охватившую одной ручонкой его шею, а в другой державшую стальную палочку с треугольником.

Музыканты, по обыкновению, напряженно посматривали на дачные окна, рассчитывая на внимание к себе обывателей. Когда они поравнялись со мной и молодой музыкант взглянул на меня, я сразу вспомнил этот мягкий, ласкающий взгляд знакомых бархатных глаз Абрамчука.

– Абрамчук, это вы? – вскрикнул я.

Он остановился, с неопределенно блуждающей улыбкой, и затем, по-видимому узнав меня, радушно закивал головой.

– Это вы, Абрамсон? – спрашивал я, почти уверенный в своей догадке: так мало он изменился за это время! Даже шапочка на голове, казалось, была все та же.

– Это я-с, – все улыбаясь, отвечал музыкант. Ушедшая было вперед женщина с шарманкой, услышав наш разговор, приостановилась и стала внимательно вглядываться в ме-

ня. Конечно, это была она, Катена; однако ее было нелегко узнать сразу: она сильно возмужала, кожа на ее лице и руках стала совсем бронзовой; в ней уже не было заметно прежней «козьей» грации, зато все члены ее, казалось, были так же крепки, как у здорового мужчины. Ее скоро выдал знакомый мне взгляд ее больших карих, постоянно возбужденных глаз, светившихся своеобразною энергией и вместе подозрительно недоверчивостью.

– А это... ваши?.. Ведь это бывшая Катена? Да? – спрашивал я, кивая головой на женщину и девочку. А последняя была вылитая мать: ее темные глазенки исподлобья сверкали на меня так же недружелюбно и недоверчиво.

Абрамчук не отвечал на мой вопрос и только смущенно кивнул головой.

– А где же старый Сидорыч?

– Старичок скончался... Еще тогда... давно... Мы ему посылали туда немного денег... всего три рубля, господин, больше тогда не могли, – наивно извиняясь, добавил Абрамчук, – ну, и нам прислали их назад, потому

что старичок скончался...

– Что ж, Абрамчук, должно быть очень плохо вам живется? – спросил я.

Он отвечал мне только характерным для него подергиванием плеча и робкою, молчаливою улыбкой безвольного человека.

В это время его спутница, очевидно, меня наконец признала. Она быстро окинула меня подозрительно-недоброжелательным взглядом, перекинула шарманку на другое плечо и двинулась дальше. Абрамчук спокойно посмотрел ей вслед, намереваясь тотчас же тронуться за нею. Но я задержал его.

– А вы все еще хорошо играете, – сказал я. – Нет, даже лучше... Отчего же вы не поступите в оркестр? Заходите ко мне... Мы это обдумаем... Я вас познакомлю с артистами... Зайдете?

– Все быть может! – отвечал он и снова закивал мне головой, смущаясь, кажется, тем, что он благодаря палке в одной руке и девочке – на другой никак не мог приподнять, по всегдашней привычке, свою шапочку.

Отойдя порядочно далеко, Катена остановилась, поставила шарманку на подставку и

заиграла.

Абрамчук торопливо еще раз кивнул мне головой, улыбнулся и поспешил к своей спутнице.

Он, впрочем, больше не играл. Шарманка, проиграв две-три пьесы, грубо оборвалась и замолкла, и мои старые знакомцы скрылись вдали аллеи.

Немного погодя я оделся и пошел пройтись по той же дороге. Признаться, я надеялся, что Абрамчук еще раз где-нибудь заиграет; мне так хотелось послушать его игру, в которую он вносил что-то такое необыкновенно своеобразное, чего, я уверен, я не мог бы услышать еще никогда и ни от кого.

Я проходил в парке около получаса, а никакой игры не было слышно ниоткуда. Как вдруг из самой чащи парка, со стороны большого пруда, стали доноситься прерывистые звуки знакомой флейты, как будто кто-то или настраивал инструмент, или разучивал новую, незнакомую пьесу. Звуки то прекращались на время, то снова возобновлялись. Я пошел на них, – и вскоре невдалеке, на мыску около пруда, в тени лип заметил знакомую

группу, сидевшую на траве. Катена, вынимая из узелка хлеб и еще что-то, разрезала все на кусочки и подавала то ребенку, то Абрамчуку. Абрамчук держал у себя на коленях развернутые листы нот и действительно разучивал какую-то пьесу. Я не хотел подходить к ним и смущать их. Я думал, если Абрамчук захочет возобновить со мною знакомство, — сам воспользуется моим приглашением и придет ко мне. Я присел тоже в тени, на берегу пруда. И вдруг Абрамчук заиграл «по-настоящему».

Это было что-то совершенно новое и еще неслыханное мною. Чем дальше, тем Абрамчук играл все с большим упоением. Нежная, как трели соловья, мелодия то тихо струилась в чаще густых деревьев, то вдруг с шумом рвалась ввысь, к небу, на простор, из-под кудрявой шапки лип и дубов.

Я слушал и не спускал глаз с этой группы жалких «маленьких людей», которые не знают, чем и как будут жить завтра. Катена теперь сидела, опустив усталую голову на руку, упиравшуюся на колено, а другой гладила по головке девочку, лежавшую около нее на траве. Абрамчук играл, отойдя несколько в сто-

рону, в глубь деревьев, как это он делал обыкновенно прежде. Быть может, ему именно хотелось вызвать воспоминание о чудном просторе поволжских берегов, на которых он вырос и научился играть, которые одухотворяли его игру чистой возвышенной поэзией. И мне самому чудилось, что это была действительно своеобразная мелодия, создать которую и наполнить ее своеобразным смыслом могли только они, эти несчастные «маленькие люди».

Да, это был именно их гимн, их мольбы тому богу милосердному, всепрощающему, любвеобильному, о котором когда-то с такой верой говорил Сидорыч.

Скоро Катена, по-видимому, заметила, что на игру начали понемногу сходиться то там, то здесь слушатели. Она сказала что-то Абрамчуку; он замолк. Затем они наскоро собрались и скрылись в парке... для меня уже навсегда. Абрамчук не заходил ко мне, да и вообще они больше не появлялись в этих местах.

Примечания

Впервые – в «Журнале для всех». 1902. No 1, под заглавием «Сироты 305-й версты (Из старых записок)». Включен в собрание сочинений Н. Н. Златовратского 1912—1913 гг.

Текст печатается по изданию: Златовратский Н. Н. Надо торопиться. Сироты 305-й версты. Рассказы. М.: Гослитиздат, 1955.

[^^^]

Присный – истинный, настоящий, вечный; единомышленник. *Люстриновый* – сделанный, сшитый из люстрина, шерстяной или полушерстяной ткани с глянцем.

[^^^]

3

Меламед – учитель в еврейской школе.

[^^^]